

Александр Нешный

С БОГОМ

1.

Приступая к повествованию о жизни и удивительных поступках нашего героя Александра Алексеевича Артемьева, сообщим, что лет ему исполнилось не так уже много, но и совсем не мало, а именно — тридцать семь, из коих девять он состоял в законном браке с прелестной внешним своим видом Галей Юшковой, которой он был старше на семь лет и с которой родил сына, Димочку, чудесного мальчика с глубокими темными глазами.

Познал ли он счастье в семейной жизни? О, да. Был он счастлив почти два года после шумной свадьбы в ресторане «Ариэль», где ломились от питания и брашна составленные буквой П столы и оглушительно играл оркестр. Чем усердней дорогие гости пили, тем чаще они орали «горько». Жених — вернее, после посещения ЗАГСа уже не жених, а муж, — поднимался из-за стола, вместе с ним поднималась его очаровательная, сияющая молодостью и счастьем теперь уже жена, в белом платье, так шедшем к ее смугловатому лицу и темно-карим, почти черным глазам с синеватыми белками, и он приникал к ее губам, хранящим сладкий вкус только что выпитого вина. Нестройным хором гости считали: один... два... три... «Мало! Еще! — орали они. — Всё равно горько!» Все смеялись. Только его мама сидела, опустив голову, с лицом, выражающим такую печаль, словно она была не на свадьбе, а на поминках. Он мельком взглядывал на нее и поспешно отводил глаза. Всю жизнь с тех пор, уже и после ее смерти, он вспоминал, какой отрешенной была она среди полупьяных, пьющих, жующих, веселящихся гостей, и щемящее чувство своей перед ней неизбывной вины падало ему на сердце.

2.

«Боже, — произнес он, — милостив буди мне, грешному». Он брился, с отвращением глядя на свое отражение в зеркале: лысеющий, склонный к полноте мужик с мешками под глазами. Господи, помилуй, во что он превратился! Курить надо бросить. В зал ходить. В молодости был строен, ни грамма лишнего веса, пролетал стометровку за одиннадцать секунд с малюсеньким хвостиком в одну десятую, что принесло ему первый разряд. Как он был счастлив. Рука дернулась, и на левой щеке, возле подбородка, проступила кровь. «Ничего не можешь, — со злостью высказал он себе прямо в лицо. — Побриться, не порезавшись...» В дверь постучали. «Папа! — позвал Димочка. — Я уже встал». — «Сейчас, Дима! — откликнулся он. — Еще секунда. Учебники, тетрадки — все собрал?» — «Еще вчера». — «Умник, — похвалил он сына. — Поставь чайник. А мама?» — «Мама спит». — «И пусть, — сказал Артемьев, подумав, что случись иначе, пришлось бы ставить свечку Петру и Февронии за их, правда, изрядно запоздавшее вмешательство. — Иду!»

Но скажите на милость, как получилось, что он взял в жены девушку, не присмотревшись к ее родителям? Да, он их видел, сто раз видел, — ее мать, Тамару Владимировну, маленькую женщину с кукольным лицом, выщипанными бровями и ртом куриной жошкой, из которого, как пули из автомата Калашникова, с неправдоподобной скоростью вылетали слова, и ее отца, Роберта Муртазовича, малорослого жилистого грузчика с двумя ходками на зону — первая за нанесение телесных повреждений средней тяжести, и вторая, уже за тяжкие телесные, проще же говоря — за удар ножом в спину случайного собутельника. Но что в том толку, что он их видел? В тумане влюбленности ему напрочь отказала способность угадывать в облике человека свойства его натуры. Иногда он промахивался; но тут ошибся бы только слепой. Однако разве способен он был тогда подумать, что у женщины с лицом Тамары Владимировны могут быть только мелкие, завистливые, злобные мысли? И что душа ее мужа подобна темному подвалу с обитающими в нем двумя-тремя простейшими инстинктами в виде прожорливых грызунов? Когда он был трезв, то при встречах больше молчал, пьяный же страшно скрипел зубами и хрипел, обращаясь

к Тамаре: «Я хочу свежее кушать!» — а Артемьеву объявлял, глядя на него глазами цепного пса: «Все, что ты знаешь, я давно забыл». При других обстоятельствах это ошеломляющее признание наверняка заставило бы Артемьева задуматься — но увы, он и его пропустил мимо ушей. Спрашивается: кого могли они произвести на свет? Кого, скрипнув зубами, выплеснул из темных своих недр Роберт, и кого, приняв его семя, зачала своим маленьким телом Тамара? Какими свойствами могли они наделить свою дочь? «Все это ерунда, — отмахивался Артемьев, когда его лучший, еще со времен школы друг Толя Антипов пытался ему внушить, что позолота сотрется, а свиная кожа останется. — Папа грузчик, мама продавщица. Не белая кость, не голубая кровь. И мы не из дворян. Ну, тарактит она. Ну, пьет этот Роберт. И что? Кто сейчас не пьет». Были еще родственники: мать Тамары, восьмидесятилетняя старуха с трясущимися руками и виноватой улыбкой, какие-то сестры и братья, кажется, ее двоюродные, все ей под стать, продавцы и продавщицы, и только один трудился мясником на Центральном рынке. Их было чересчур много на занятую совсем другим голову Артемьева, и он их путал, называя Людой — Клаву, а Николая — Сергеем, и Тамара, поправляя его, поджимала губы, отчего ее рот становился еще меньше. «Ни-че-во», — басом говорила старуха и улыбалась доброй, виноватой улыбкой.

Он был глуп и влюблен, что, собственно, одно и то же. И не хотел признать, что рано или поздно она заговорит голосом своей матери и обнаружит глубинное сходство со своим отцом. Не пришлось долго ждать. На исходе второго года их брака светлым утром позднего лета она проснулась в дурном настроении. Она была беременна, и ее мучили страхи никогда не рожавшей женщины. «А что, если я умру?» — спрашивала она и смотрела на Артемьева таким умоляющим, таким жалобным взором, что он брал ее голову в ладони и бормотал, перемежая слова поцелуями. Галочка, говорил он, страдающая ее страхами, ну, что ты, сокровище мое. Я тебя уверяю, ты даже не заметишь, как родишь. Мама моя вспоминает, я выскочил из нее, как пробка из бутылки шампанского. Тень легла на ее лицо. Она помрачнела. Вечно ты свою мамочку везде суешь. Он опешил. Галя! Почему вечно? И почему — суешь? Мы на таком языке не разговариваем. Ну да, молвила она, смотря на него злыми глазами. Ты что хочешь сказать? Что у меня отец татарин? И грузчик? А мама про-

давщица? А твоя мать, она кто, академик? Галя, взмолился он, перестань. Что за вздор ты говоришь. Тебе вредно волноваться. Вредно?! Она встала с кровати, и, пока среди брошенных как попало вещей искала халат, он увидел ее выросший за последние дни живот и худые ноги с едва заметными волосами на голеньях и обозначившимися венами. Да, мне вредно, вреднее быть не может. Она набросила на плечи халат и заговорила с ошеломляющей скоростью, отчетливо выговаривая каждое слово. Я терпела, сколько могла, а теперь скажу. Не надо было тебе жениться, вот что! Ты все к ней бегаешь. Ночуешь у нее. И деньги ей даешь, как будто у нас их куры не клюют, и продукты, и звонишь по десять раз в день. Мамочка, передразнила она, как ты себя чувствуешь? А как я себя чувствую, тебе и дела нет. Неправда! — воскликнул он, пораженный легкостью, с какой она солгала ему в лицо. Мы с тобой только позавчера были у профессора. Сколько врачей обошли, я со счета сбился. А у мамы была тяжелая операция, ты знаешь. Кому еще о ней заботиться. Она усмехнулась. У нее характер такой, вот почему она одна, мстительно проговорила Галя. Твой папа не выдержал и ушел.

Артемьев вдруг испытал отвращение к ней — к ее волосам с покрашенной в соломенный цвет прядью, к глазам, которые в медовую пору их отношений он называл «темными звездами», а сейчас в них было столько злобы, что хватило бы на пару доберманов, к ее рту, словно у механической куклы открывающемуся и закрывающемуся с умопомрачительной быстротой, к ее худым ногам, а в особенности — к ее желтому с красными пятнами халату, который казался ему теперь олицетворением всего дурного, что она принесла в его жизнь. И если раньше он позволял себе занестись мыслями в некое безоблачное будущее, где он был любящим мужем и счастливым отцом уже подросших детей, мальчика и двух девочек, то теперь он в первый раз подумал, что рождение сына свяжет его по рукам и ногам. Одно дело — расстаться с ней, и совсем другое — отдать сына ей и ее матери, чтобы они вырастили его по своему образу и подобию.

Закрыв лицо руками, она сидела в кресле. Плечи вздрагивали. Ему стало жаль ее. Мучает себя, подумал он и повторил вслух: ты мучаешь себя и совершенно напрасно. Я здесь, я с тобой, я тебя люблю (но с усилием выговорилось у него это слово) и жду нашего мальчика. Она ответила: жди.

3.

Нет худа без добра. Богоданная супруга вставала к плите все реже, и он научился готовить. Он варил суп — и скоромный, и постный, всякий; удавался и борщ; жарил картошку, запекал курицу; о разнообразных салатах, спагетти с натертым сыром, омлетах и глазуньях нечего и говорить — точно так же, как об овсяной каше, тарелку которой он поставил перед сыном. Ешь. Овсянка прибавляет ума. Ну да, сказал Димочка, улыбаясь своей прелестной, застенчивой и лукавой улыбкой. Овсянку лошади любят. Не овсянку, а овес, поправил Артемьев. А тебе еще и чай полагается. С гренками и джемом. «А тебе что полагается?» — спросил Дима. Кофе. Давай, мой друг. Вперед и с песнями. Дима дважды опустил ложку в тарелку, дважды, скосив глаза, отправил ее в рот, на третий же раз остановился на полпути и спросил, известно ли папе, что Россия самая лучшая, самая православная страна на всем свете, а русский народ... Он задумался. Слово забыл. Священник, отец Андрей, раза три сказал. Русский народ... Забыл. Не мучайся, сказал Артемьев. Ешь быстрее. У нас, он взглянул на часы, двадцать минут. Русский народ — богоносец. Дима кивнул, одну за другой съел три ложки каши, передохнув, съел четвертую и отодвинул тарелку. Бог русский народ выбрал. Он стал богоносцем. И за это другие народы его ненавидят. Пап, я больше не хочу. Эх, огорчился Артемьев, совсем немного осталось. Две ложки. Доешь. Дима покачал головой. Не лезет. Тогда чай, и по коням. Дима налил себе чая, взял любимую свою гренку из «бородинского» хлеба, намазал сверху клубничным джемом, придирчиво осмотрел, промолвил: «Восхитительно», — и с хрустом откусил. У Артемьева между тем в груди закипало. Он спросил. А этот... отец Андрей, давно у вас? В первый раз. Теперь будет приходиться по пятницам. Шестой урок. Он, папа, такой... Дима положил гренку в блюдце и развел руки. В два обхвата. И крест золотой. Петька Круглов сказал, из чистого золота. Ага, заскрипевшим от нехорошего чувства голосом произнес Артемьев. Держи карман. А что, папа, внимательно посмотрев на Артемьева, спросил Дима, этот отец Андрей, он тебе не нравится? Дверь в кухню отворилась. Заглянула Галя в розовой ночной рубашке до пят, с черными потеками под глазами от несмытой на ночь туши. Вы

еще здесь, промолвила она, зевая. Опоздаете. Доброе утро, мама, улыбнулся Дима. Доброе, Димочка. Я еще посплю. Вчера после премьеры столы накрыли. Я вернулась часа в три. Едва живая. Вернулась, ровным голосом сказал Артемьев, и слава Богу. Я рада, что ты рад, холодно промолвила она и закрыла дверь. Тяжелый случай, пробормотал Артемьев. Дима услышал и спросил, а с кем тяжелый случай, с мамой? Она устала? Со мной, ответил Артемьев, и скомандовал: вперед!

Они вышли на улицу, отец и сын, Артемьев в кожаной куртке и джинсах и Дима со школьным ранцем за плечами, в синей на молнии курточке и тоже в джинсах. Чудесное светлое голубое небо было над ними, яркое солнце поднялось над высокими домами, и в утреннем воздухе угадывались запахи приближающейся осени — прелой листвы, ночных заморозков, тонкого льда на лужицах, похожего на треснувшее зеркало. Артемьев открыл дверцу своей состарившейся «Лады», усадил Диму на заднее сидение, сел за руль и сказал: погнали. И что еще, спросил он, выехав из двора на улицу и повернув налево, сообщил этот отец Андрей? Ну-у, протянул Дима, разве вспомнишь... Говорил, мы счастливые, потому что родились в России. И еще... В России много святых. Им надо молиться. Дима помолчал и спросил: пап, а ты какому святому молишься? А я почему только «Отче наш» и все? Это серьезный вопрос, Дима. Давай вечером. Хорошо? Он думал: семь лет, чистая душа. Не знает зависти, превозношения, ненависти, лицемерия, корысти. *Tabula rasa*¹. Но вот приходит некто отец Андрей и начинает марать на этом чистом листе, что мы — богоизбранный народ. Мы русские, с нами Бог. Вот ведь, он поискал для него нужное слово и нашел: компрачикос. Только те уродовали тело, а этот — душу. Теперь направо, по полого спускающейся улице до станции метро, и еще раз право руля. «Форд». Новенький. Зачем ты теснишь меня, ты и твой водитель, весь в угольно-черной бороде. Разве вы не видите ребенка на заднем сидении, моего сына, наследника моей веры? «Ух, ты! — воскликнул Дима. Папа, он правил не знает! Он из второго ряда!» — «Простим ему этот грех, сын мой. И скажем: о, люди! Разве вам неведомо, что главное...» — «Думать, а потом делать!» — подхватил Дима. Вот именно, кивнул Артемьев и, выбравшись из толчеи машин, поехал по проспекту — мимо молодого

¹ Чистая доска (*лат.*)

го парка с тоненькими липами; мимо церкви, в куполах которой ослепительными огнями отражалось утреннее солнце; мимо стоящего в глубине огромного белого здания с башенкой и часами, в стенах которого, поговаривали знающие люди, совершалась совершенно секретная работа по защите Отечества, — до поворота налево и по узкой дороге вдоль рощицы к воротам школы. Стоп. Приехали, сказал Артемьев. Которые тут ученики — на выход.

Он вышел вместе с Димой и в ответ на его удивленный взгляд сказал, я к директору. «А зачем?» — спросил Дима. Много будешь знать, начал Артемьев, но Дима перебил. Знаю, знаю. Скоро состаришься. Вместе с ними, тесня и обгоняя их, спешило племя молодое, незнакомое — совсем юные отроки, шустрые подростки, девушки в цвету, одна другой краше, и молодые люди, их одноклассники, высокие, ладно сложенные. Славные ребята.

В коридоре они расстались. Дима помчался на третий этаж, Артемьев же двинулся к директору. Внезапно дверь приемной перед ним распахнулась, он попятился. Трое мальчишек класса, наверное, шестого, бежали прочь, а вслед им неся грозный крик директора: еще раз, и на все четыре стороны! Таким образом, все двери перед Артемьевым были открыты, и он, миновав приемную, вступил в прокуренный кабинет директора, Сергея Марковича Гинзбурга. Он сидел под портретом, на котором изображен был человек, слегка склонивший голову и прищурившийся, отчего в уголках глаз у него видны были морщинки. Кое-кто, скользнув беглым взглядом, принимал его за Ленина. Директор спешил развеять это прискорбное заблуждение. Взгляните, предлагал он, внимательней на лицо этого человека. Образ доброты. Разве он мог бы послать кого-нибудь на расстрел, как это сплошь и рядом любил делать Ильич? Взгляните и запомните: это Корчак, Януш Корчак, великий педагог, отказавшийся от побега из Варшавского гетто и вместе со своими еврейскими питомцами из Дома сирот отправившийся в газовые камеры Трехлипки, где его с детьми сначала убили Циклоном «Б», а потом сожгли.

Ага, молвил Гинзбург, увидев появившегося на пороге Артемьева. Что встал? Проходи.

Артемьев учился в этой школе с девятого класса и помнил директора без единого седого волоска на голове, на уроках зачастую отступавшего от темы и державшего перед классом речи в том духе,

что история дала нам шанс и второго такого может не быть. Ибо из всякой незавершенной революции рано или поздно вылупливается диктатор. Не дай нам Бог, восклицал Сергей Маркович. Девяностые годы. Какие надежды питали сердца. Сейчас Артемьев видел перед собой человека совершенно седого, полного, в очках с сильными стеклами, с брезгливой усталостью разглядывающего сквозь них несовершенный мир. На лице его можно было прочесть: как же мне надоела эта бездарная комедия. «Ну, — спросил он, закуривая, — зачем пришел?» Закурил и Артемьев и сказал, у вас тут расцвел ядовитый цветок. «Всего один?» — вяло молвил директор. У меня их по меньшей мере три. Тогда четвертый, сказал Артемьев. Ты явился меня расстроить? Сергей Маркович ткнул сигарету в пепельницу, потянулся за другой, но отдернул руку и гордо сказал: видишь? Сила воли. Держим паузу. Что ж, если так. От судьбы не уйдешь. Рази меня, беспомощного старика. Но кто мне скажет, когда я спрыгну с этой обезумевшей колесницы? Когда обрету покой и сяду за мемуары под названием «Школа как жизнь, и жизнь как школа»? Когда почувствую себя свободным? Он подумал и сказал: nevermore². Но сдается мне, я напрасно не выгнал тебя в девятом классе, когда ты напился на новогоднем вечере и был свинья свиной. Я тебя помиловал. А ты? Неблагодарный. Выкладывай же.

Сергей Маркович, невесело усмехнувшись, сказал Артемьев, вам известно, какую пургу несет этот священник, отец Андрей? Понятия не имею, бодро отвечал директор. А если честно, и знать не хочу. Вам все равно, спросил Артемьев, что в вашей школе зацвел национализм? Что детей кормят отравой в виде богоизбранности России? Что она одна такая, православная и угодная Богу, а все вокруг — волки хищные, который век мечтающие ее загрызть? Как интересно, безо всякого интереса произнес директор. Где-то я все это слышал. Еще бы, с горечью молвил Артемьев. Телевизор — наш воспитатель. Только подумать. Он священник, христианин, а в его словах нет ничего от Христа и Евангелия.

Слушай, Саша, хмурясь, произнес директор, не хватало еще мне разбираться, христианин этот поп или паразит от христианства. И попа этого я бы сто лет не видел, и христианство меня занимает исключительно как явление истории и как попытка дать человечеству нравственный идеал. У них, кивнул он в сторону окна, новые

² Никогда (англ.)

лозунги, ты знаешь. Раньше коммунизм, пролетарии всех стран, соединяйтесь, мы за мир и песню эту, а теперь — православие или смерть. Коротко и ясно. Мне что — голову на плаху? Встретить этого попа у ворот и погнать его поганой метлой? Вызвать и сказать, знаешь, поп, ты у себя в церкви можешь нести всякую ахинею, а здесь школа, территория, свободная от фанатизма всех видов и расцветок. Чтобы никакой богоизбранности, понял? Он спросит, толстобрюхий: тут русская школа? Что прикажешь ему ответить? Да, отвечу я, это школа Российской Федерации, отделенного от церкви светского государства. Конституция, статья четырнадцать. Он пропустит мимо ушей Конституцию и статью и заметит: допрыгались с этой светскостью, хватит. Школа русская, а ты кто? Я отвечу: директор. И как, он спросит, директор, твоя фамилия? Что мне делать, если родился я не Ивановым, а Гинзбургом? У меня отец был Гинзбург, дед Гинзбург, и все мои предки Гинзбурги, и все были добропорядочными скорняками, а папа нотариусом, и только я, идиот, решил учить детей русской истории. Я отвечу ему с нехорошим предчувствием: Гинзбург. Вот ты, Гинзбург, укажет он мне, и не лезь в наши русские дела.

И вообще, проговорил директор, глубоко переживая созданную его воображением картину встречи с отцом Андреем, хватая сигарету и затягиваясь. Что ты от меня ждешь? Уродов этих я запретить не могу. Попа запретить не могу. Скорее, он меня запретит. Сергей Маркович помолчал. Впрочем, со вздохом сказал он, я мог бы, наверное, но как представишь... и он махнул рукой. *O tempora! O mores!*³ Но вот что меня занимает. С этими словами Сергей Маркович устремил пронизательный взор на Артемьева. Что-то мне кажется несколько странной тревога моего бывшего ученика о чистоте христианства. Боюсь думать, но не означает ли это, что Александр с некоторых пор стал рабом Божиим и уверовал в прекрасную сказку о Иисусе Христе?

Артемьев засмеялся. В самую точку, Сергей Маркович. И раб Божий, и в сказку верю. Да ты что, изумился директор. Я-то, честно говоря, думал, ты скажешь, что для тебя это культурно-философский вопрос и ничего больше. А тут вон как! И Сергей Маркович с любопытством взглянул на Артемьева. Тогда объясни мне, Бога ради, как ты дошел до жизни такой? Ведь я уверен, это у тебя

³ О времена! О нравы! (лат.)

настоящее, не дань постыдной моде. Я видеть не могу, как наши вожди... Он засмеялся, показав превосходные белые зубы искусственного происхождения. Прежние вожди стояли на мавзолее, а эти в церкви со свечками. И те, и другие равно отвратительны, но какова, мой друг, усмешка истории! Но сделай милость, расскажи бывшему своему учителю, какие тараканчики поселились в твоей утомленной голове? Расскажи старому атеисту, которого в детстве дедушка Арон Исаевич Гинзбург привел в синагогу, где один очкастый, метр с кипой еврей острым ножичком обрезал мой невинный и еще даже не опушившийся членик, — рыдал я при этом ужасно, и, может быть, в детской моей душе именно тогда, пока еще неосознанно, поселилось враждебное отношение ко всем религиям, ибо что они могут дать маленькому человеку, из каковых, собственно, и состоит человечество, помимо унижения и боли, сколько зла, если вдуматься, от всех религий, одни крестоносцы, черт бы их побрал, теперь мусульмане — тут расстреляют, там взорвут... но расскажи о своем обращении, и кто знает, может быть, под занавес жизни я пойму, сколь глубоко я ошибался, и припаду к Господу со слезами раскаяния и воплем: Шма Исраэль!⁴

Ну, Сергей Маркович, пожал плечами Артемьев, как это... я даже не знаю. С одной стороны, так просто, а с другой — совершенно необъяснимо. Не хочешь, не говори, кивнул директор. Но если твои нынешние убеждения настоящие, то объясни, как ты живешь в этом мире? Знаешь ли, что сказал Бернард Шоу, великий остроумец? Порядочный человек в обществе, сказал он, все равно, что Даниил во рву со львами. Заменим «порядочного» на «верующего» и получим картину твоей жизни. Так? Артемьев засмеялся. Почти.

Полностью текст можно будет прочитать позднее на нашем сайте www.new-youth.ru в разделе "Архив".

⁴ Слушай, Израиль (*иврит*).